

МИТРОПОЛИТ
АНТОНИЙ
СУРОЖСКИЙ



ПАСТЫРСТВО

митрополит Антоний Сурожский

Пастырство

«Никея»

2012

УДК 253
ББК 86.372

Сурожский м.

Пастырство / м. Сурожский — «Никея», 2012

ISBN 978-5-907307-04-9

Пастырство составляло содержание жизни владыки Антония, и своим многолетним опытом он щедро делился в беседах, проповедях, в личных разговорах и наставлениях. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, чье предисловие открывает книгу, при погребении митрополита Антония недаром назвал его «мудрым наставником и пастырем-душепопечителем». Книга, которую вы держите в руках, предназначена не только священникам: владыка Антоний говорил, что паства должна знать о пастырстве не меньше, чем пастыри. Особенно это относится к разделу, посвященному исповеди: как часто люди сами сознают и каются, что не умеют исповедоваться! Тексты митрополита Антония не дают готовых рецептов на все случаи жизни, но позволяют приобщиться духу почившего архипастыря – духу любви, служения и жертвенной заботы, которым он научился от Пастыреначальника Христа.

УДК 253
ББК 86.372

ISBN 978-5-907307-04-9

© Сурожский м., 2012
© Никея, 2012

Содержание

Предисловие	6
О пастырстве	8
О пастырстве[1]	8
Пастырство[4]	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Митрополит Антоний Сурожский

Пастырство

Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»



*Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС 11-115-1650*

Текст подготовлен фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»

Перевод с английского и французского Т. Л. Майданович

НИКЕЯ 

© Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation, 2012

© Т. Л. Майданович, перевод, 2012

© ООО ТД «Никея», макет, обложка, 2017, 2020

Предисловие

И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием.

Иер. 3: 15

Господь наш Иисус Христос трижды спрашивал у апостола Петра: *Любишь ли Меня?* – и трижды слышал утвердительный ответ. Мне вспоминается эта евангельская история (Ин. 21: 15–17) в связи с тем, что и в настоящей книге, и в этом вступительном слове речь идет о пастырстве и о пастыре. И мне хотелось бы обратить внимание на то, какие разные интонации слышатся в формулировках вопроса Спасителя о пастырском достоинстве, всякий раз открывая в нем новую смысловую грань:

Любишь ли ты Меня больше, нежели они? – то есть больше всех остальных последователей.

Любишь ли ты Меня? – другими словами, **любовь** ли движет тобой в отношении ко Мне или что-то другое?

Любишь ли ты Меня? – именно **ты**, и никто иной...

И только при условии утвердительных ответов, идущих из таких глубин сердечных, которые неведомы и самому апостолу, но не скрыты от Бога: *Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя*, – Спаситель произносит Свое благословение: *Паси овец Моих*.

Всей своей жизнью Высокопреосвященный Антоний, митрополит Сурожский, утвердительно ответил на вопрошание Господне о его готовности к принятию на себя пастырского бремени и о его несении вплоть до последнего дыхания.

Владыка Антоний учился быть пастырем каждую минуту в течение всей своей долгой и многотрудной жизни. Мне кажется, что при всем бесценном опыте ревностного священнослужителя, мудрого архиерея, добродетельного монаха, внимательного духовника, проникновенного проповедника и неутомимого миссионера, которым знает его православный мир, сам Владыка никогда не признал бы того, что он является выдающимся пастырем нашего времени. И дело не только в его скромности: пастырство он понимал как состояние, которое следует поддерживать постоянно, без сна и отдыха, без условий и без перерывов.

Сурожский архипастырь оставил Церкви бесценное наследие. Свидетель жизни и духовный руководитель русской диаспоры в Северо-Западной Европе, он проводил в путь всея земли поколение эмигрантов из царской России и ввел в храм Божий тех, кто родился и вырос в послереволюционной России, со временем покинув ее, а также и тех, кто сегодня свободно выбирает, где бы еще пожить, кроме дома в своем Отечестве... Пастырь добрый, он создал Сурожскую епархию, силой своего личного примера раскрыв богатство Православия и перед сынами и дочерями Альбиона, и перед соотечественниками, оказавшимися за пределами Родины.

Собранное митрополитом Антонием духовное сокровище не положено после его кончины под спуд: оно продолжает жить и обильно плодоносить, приводя ко Христу читателей книг и слушателей бесед незабвенного проповедника.

Радость жизни со Христом стала отличительной чертой пастырской проповеди Владыки Антония. Он с особой силой убеждения научает нас принимать широко раскрытыми очами сердца Свет Христов, который не ослепляет, но просвещает всех.

Не секрет, что сегодня многие из числа неофитов останавливаются, сделав лишь первые шаги в области веры, а затем замирают, замыкаясь в своей самодостаточности, и становятся подчас источником слухов, суеверий и всякого рода размежеваний. Как душны и мрачны в их интерпретации такие состояния христианского сердца, как смирение и пост, послушание

и покаяние! Но опасность их влияния на окружающих велика, ибо в этой духоте рождается фанатизм, создающий почву для сектантских и раскольнических настроений.

Читайте книги митрополита Антония, досточтимые отцы, возлюбленные братия и сестры! Своей архипастырской любовью и проникновенной мудростью он врачует наши душевные раны и проясняет духовное зрение, укрепляет личную веру и учит оберегать ее, как нежный росток.

Предлежащая книга о пастырстве бесценна для тех, кто вступает на стезю священства или уже проходит этот тяжкий крестный путь, нуждаясь, как и все люди, в духовном совете и укреплении.

Воистину незабвенный Владыка Антоний принадлежит к сонму тех, к наследию коих не перестанет обращаться уставшее и отчаявшееся, жаждущее истины и утешения, страдающее и немощствующее сердце человека со словами: *Дадите нам от елея вашего, яко светильницы наши угасают* (Мф. 25: 8).

Его самопожертвование, проявленное при жизни, укрепляет уверенность в обретении *елея радования* в словах и делах блаженного сурожского святителя. Однажды, еще будучи молодым пастырем, он возопил ко Господу, молясь об одном из своих прихожан: *...Мы пред Тобой, Господи, как одно; или вместе спаси нас, или вместе отвергни!*

Неизмеримо огромная любовь к человеку была и остается его самым главным качеством христианина и пастыря Божия. Без любви к Богу она не смогла бы проявиться в той мере, какую явил Владыка Антоний. И по тому мне очень хотелось бы, чтобы духовные последователи почившего архипастыря, молясь о его упокоении в лоне Христовом, могли с честью повторить слова Владыки: *Мы пред Тобой, Господи, как одно!*

*Митрополит Филарет (Вахромеев),
почетный Патриарший экзарх всея Беларуси*

О пастырстве

О пастырстве¹ (25 декабря 1973 г.)

Излишне говорить о том, какая для меня радость – быть снова в стенах Троицкой лавры и находиться в Духовной академии.

Я всегда колеблюсь, что говорить и о чем; как некоторые из вас знают, я без богословского образования, и говорить на богословскую тему среди студентов и преподавателей Академии всегда несколько боязно. Поэтому я стараюсь выбрать такие темы, на которые я могу говорить из опыта жизни: о том, что пришлось изведать, что пришлось слышать от людей, которые пережили многое, что довелось читать.

И вот сегодня мне хочется сказать вам о пастырстве. Эта тема постоянно вызывает волнующие думы у всякого священника, у всякого епископа; должна бы вызывать думы и волнение и у всякого христианина, так как в каком-то отношении, независимо от того, несет он священный сан или нет, всякий христианин послан в мир быть проповедником Христа, свидетелем вечной жизни, путеводителем других в Царство Небесное. Поэтому то, что я имею сказать, относится, разумеется, в первую очередь к священнослужению, но относится также к *царскому священству* всех верующих.

Когда мы говорим о пастырстве, само слово звучит для нас богословски; и в этом отношении в культуре городов, больших государств, в культуре промышленности оно потеряло ту живость, ту свежесть, которые имело в Ветхом и Новом Завете, когда произносилось среди полей, среди иной культуры. И мне хочется сказать несколько слов об этом, потому что само слово родилось из живых отношений пастыря с паствой, то есть попросту – пастуха с теми домашними животными, с которыми он общался.

Первое, что поражает в Евангелии, когда читаешь рассказ Христов о заблудшей овце, – это нежность, это забота. Если кто из вас жил в деревне или читал и вдумывался в быт ранних времен, то может себе представить: переходящие стада, люди, которые не только с них кормились, но которые с ними жили. Вспомните, например, рассказ в Книге Царств о том, как согрешил Давид с Вирсавией и Нафан рассказал ему притчу. Был богатый человек, у которого все было: и имущество, и стада; и пришел к нему друг, для которого он захотел пир учредить. Но ему стало жалко своих овец, своих ягнят, жалко своего *тельца упитанного*, и он велел у бедного соседа, у которого всего-навсего и была-то одна овечка, эту овечку отобрать, закласть на обед для пришедшего гостя. В рассказе говорится, что эта овечка была для его соседа, бедного, одинокого человека, словно дочь родная, словно ребенок в доме. И вот это соотношение между пастухом и ягненком, между хозяином и его стадом, конечно, мы можем уловить только воображением.

Мы можем также лишь уловить, если представим себе это соотношение, смысл ветхозаветной жертвы. Вот человек заботится о своих овцах. Среди овец рождается агнец особенно прекрасный, чистый, без порока; этого агнца, ягненка пастух будет обхаживать, кормить, за ним смотреть, беречь. И вдруг веление ему от Бога: выбрать из стада непорочного, совершенного, самого прекрасного ягненка и убить, пролить его кровь – почему? Потому что он, человек, грешен. Для нас эти картины Ветхого Завета странны; но для пастуха это явно, ясно гово-

¹ Доклад в Московской духовной академии 25 декабря 1973 г. Первая публикация: Антоний, митрополит Сурожский. Проповеди и беседы. Париж, 1976 (без ответов на вопросы).

рило вот о чем: потому что я согрешил, невинное существо, самое прекрасное, самое чистое, незащищенное, на которое я положил свою заботу, которое я старался охранить, оградить любовью, жертвенной силой против всякой опасности, – должно погибнуть. Это говорит о том, что грех одного всегда является мукой и губительством для невинного, причем для самого прекрасного, для самого дорогого.

И вы поймете тогда, почему, когда мы читаем притчу Христову о заблудшей овце, она нас глубоко трогает, хотя мы так далеки от этих образов и от этой жизни. Чувствуется, что эту овцу, которая просто отделилась от стада и ушла, ушла к другим пастбищам, на лакомый кусочек земли, забыла других овец, забыла пастыря, – чувствуется, что пастух-то ее забыть не может! Речь здесь не об убытке, а о том, что эта овца ему дорога, она родилась в его доме, вскормлена его трудами, защищена от волка, – и вот ушла, несчастная.

Так бывает в человеческой семье. Мне вспоминается в особенности одна семья: девушка была соблазнена молодым человеком, исчезла, и потом, через день-другой, пришла в дом весть об этом. Семья сидела; отец долго молчал, потом встал, надел пальто, нахлобучил шляпу и сказал: «Иду ее искать». И ушел на два года – искать. Семья перебивалась, семья жила надеждой, что вернется отец с девочкой. А он переходил из города в город, с места на место, от ремесла к промыслу, перебивался как умел и наконец нашел, брошенную; стыдно ей было вернуться. Он ее взял и привел обратно. Это более, может быть, нам доступная картина пастырства, того, как пастырь древности, пастух, относился к своим овцам. Слова «агнец», «козленок», «овца», «телочка», которые нам почти ничего не говорят в нашей культуре, были такими теплыми, такими живыми словами ласки, любви, взаимных отношений.

Когда дальше вчитываешься в Евангелие, находишь еще места, как то, которое читается в канун святительских дней, отрывок из Евангелия от Иоанна: *Аз есмь Пастырь добрый; Пастырь добрый душу свою полагает за овец, а наемник бежит, потому что он наемник и не заботится о овцах* (Ин. 10: 11–12). И дальше: *Знаю Моих, и Мои знают Меня* (ст. 14). Эти места говорят именно о глубоком, тонком, чутком, любовном взаимоотношении. Пастырь идет впереди своего стада, чтобы первым встретить опасность: вора, разбойника, волка, хищного зверя, разлившуюся реку. Что бы ни пришлось им встретить, он идет впереди, он должен первый встретиться лицом к лицу с этой опасностью.

И тут выявляется другая черта пастырства. В нем – не только ласка, нежность, сознание, что нет ничего дороже этой овцы, и что, когда она уйдет, это для пастыря не утрата, а непоправимое горе. Вторая черта – это деятельная, мужественная любовь, защита, заступление, то, что в русской древности называлось «печалование»: долг пастыря встать перед властями, перед угнетателем, перед тем, кто может погубить жизнь, честь, душу человека, и сказать: «Нет! Нельзя! Пожалей, у тебя тоже совесть есть, к тебе тоже придет смерть, перед тобой тоже встанет суд».

Если вы вчитаетесь в разные места из Ветхого и Нового Завета, вы найдете, разумеется, гораздо больше указаний, чем я сейчас даю. Я хочу отметить только некоторые основные свойства пастыря, без которых пастырства нет: пастырство – не ремесло, не техника, не руководство, не властвование, а именно ласковое, жертвенное служение. Пастырство не знает дня и ночи; нет такого момента, когда человек не имеет права страдать, не имеет права быть в нужде, потому что пастырю пришло время отдыхать или он занят собой. Нет такого времени! Потому что если моя паства – моя семья, если они родились вокруг меня, если они – мои дети, то как же я скажу своему родному: «Ты перестрадай, а когда у меня будет время, я позабочусь о тебе». Так же нет такого времени, когда молитва пастырская может престать. Нельзя сказать человеку: «Ты так давно болеешь, я тебя все реже, реже поминаю, я устал от твоей болезни, от твоего горя, от твоего тюремного заключения, от того, что все у тебя не ладится и не спорится». Разве это возможно, разве мы так относимся к сестре, к матери, к отцу, к брату, к невесте? Нет, не так!

Вот подлинная мера пастырства: нежное, глубокое, вдумчивое, кровное соотношение; и оно кровное на самом деле, потому что мы действительно одна семья и одно тело, это не только богословское утверждение. Если это не так, тогда вообще все, что мы говорим о крещении, которое нас делает живыми членами живого Христова тела, – ложь; если это не так, тогда то, что мы говорим о причащении Святых Таин, о приобщенности Телу и Крови Христовым, которая нас делает единосущными, единокровными со Христом, – ложь. А если не ложь, то надо делать прямые, беспощадные иногда для себя выводы: каждый человек мне брат, сестра; он Богу так дорог, что Бог за него Сына Своего Единородного отдал; он Христу так дорог, что Спаситель всю Свою жизнь и всю Свою смерть отдал для того, чтобы этот человек, который мне по человечеству не нравится, жил, воскрес, вошел в Царство Небесное, стал моим братом. Это реально, и пастырство – в этом.

В сердцевине пастырства, однако, нечто еще большее. Есть один Пастырь, *Пастырь овец великий* (Евр. 13: 20): Господь наш Иисус Христос. Он – Пастырь по преимуществу, Он – Единый Пастырь всей твари и, даст Бог, всех упасет в Царство Небесное. А мы пастырствуем Его благодатью; мы стоим на том месте, где никакая тварь, никакой человек, самый святой, не смеет стоять; там может стоять только Господь Бог. Приносить бескровную жертву может только Тот, Кто принес кровавую жертву в Своем теле и предал Свой дух Богу о нашем спасении.

Как легко мы входим в алтарь, забывая, что алтарь – то место, которое собственно, лично принадлежит Богу; что туда войти нельзя иначе как с сознанием ужаса, чтоходишь в удел Божий, что на этом месте никто стоять не смеет. Там веет Духом Святым; там место, где только Христос Своими стопами может ходить. Мы должны были бы входить в алтарь только для того, чтобы совершать в нем служение, в ужасе, в трепете, в сознании, что только Божественная благодать, как рука Божия, легшая на Моисея, когда слава Господня на Синае проходила перед ним, может нас оградить от того, чтобы Божественный огонь нас не изничтожил, как огонь, сшедший с небес на жертву Илиину. Вот как мы должны были бы в алтаре стоять, в алтарь входить.

Что же сказать о самой жертве, о самом служении? Единственный Первосвященник Церкви Христовой – Господь Иисус Христос; единственная сила, творящая чудеса в таинствах и различных Божественных действиях, – сила Божия, сила Господа Вседержителя Духа Святого. В начале Литургии, когда все готово к совершению таинства, когда народ собрался, священство в облачении, когда хлеб и вино заготовлены на жертвеннике, диакон говорит слова, которые так легко мимо нас проходят: *Время сотворити Господеви: владыко, благослови*. И мы это воспринимаем просто как напоминание священнику: теперь, мол, начинай службу. Я спрашивал на Афоне старых монахов, как они читают в греческом подлиннике смысл этих слов. Они совсем не так их понимают, что «теперь пора совершать службу для Бога». Переставляя ударение с одного слова на другое, ударение не грамматическое, а ударение произношением, они толкуют эту фразу так: «А теперь пришло время Богу действовать». Мы сделали все, что по человечеству нам доступно: пришли, составили живой церковный собор, облачились, принесли Богу личную молитву, покаяние, стали со страхом и трепетом перед лицом Божиим, приготовили хлеб и вино; а что больше мы можем сделать? Неужели какой-то священнической или архиерейской силой мы можем превратить этот хлеб в Тело Христово, это вино – в Кровь Христову? Это может совершить только Господь. Теперь священник и диакон будут произносить священные слова, которые превосходят их, превосходят всю человеческую Церковь, которые могут быть произнесены в церкви и Церковью только потому, что Церковь не является всего лишь человеческим обществом, пусть верующим, пусть преданным Богу, пусть послушным ему, а Богочеловеческим телом, равно Божественным и равно человеческим, где во всей полноте обитает Святая Троица в единстве с примирившейся с Богом тварью, где Божество во Христе плотью обитает среди нас во всей полноте (Кол. 2: 9). Духом Святым полна и жива Цер-

ковь, и жизнь наша со Христом сокровенна в Боге (Кол. 3: 3). Вот почему мы можем говорить эти священные слова, превосходящие все, что человек может сделать или помыслить. И все равно: наши будут слова и наши будут действия, без этих слов и этих действий не совершится ничего, – и однако, Совершителем таинства остается Господь Иисус Христос, Единственный и Единый Первосвященник и Пастырь Церкви, силой Духа Святого Который наполняет Церковь.

И странно это церковное общество; не напрасно мы говорим: *Верую во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь...* По видимости – это все мы; незримо – это мы в глубоком, тесном родстве с Богом; братья и сестры Христа по плоти; братья и сестры Христа по таинственному приобщению Его человеческой воскресшей природе через Таинство крещения и причащения, через принятие Духа Святого в миропомазании. Мы являемся эсхатологическим обществом, то есть обществом, где одновременно, непостижимо, но опытно ощутимо уже присутствует будущий век в пределах этого века, уже пришел конец. Потому что конец – это не какое-то мгновение во времени, а полнота; а полнота пришла Воплощением и даром Святого Духа. Конец пришел, и, однако, конца мы ожидаем; в пределах времени уже действует тайна вечной жизни. И она когда-то разверзнется, и тайна вечной жизни захватит все, даже время. Кто-то из западных русских богословов сказал, что халкидонский догмат относится не только к Воплощению, к соединению во Христе Божественной и человеческой природы. Самое время после Воплощения и дара Святого Духа имеет халкидонское качество как бы соединения вечного, уже пришедшего будущего века и временного нашего быwania и становления.

Вот что знает Церковь. И когда мы взываем к Духу Святому в эпиклезисе, когда мы обращаемся к Нему и вопием: *Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся,* – мы просим Духа Святого, присутствие Которого является знаком, признаком вечности уже пришедшей, вечности, уже внедрившейся во время, просим Его прийти и совершить чудо, чтобы эта община разверзлась до пределов бесконечности и вечности, чтобы эта малая христианская община стала на мгновение вечностью, и чтобы то, что будет истиной в вечности, стало реальностью во времени: хлеб и вино стали бы Телом и Кровью Христа. В историческом времени этого не бывает; в мире двух измерений времени и пространства этого не случается; но это бывает, и это случается, и это происходит в тот момент, когда вечность врывается во время и время уже теперь поглощено вечностью.

Но каково же наше, священническое положение? С каким ужасом стоим мы, совершая служение, когда это совершается! Знаю случай, когда молодой священник, предстоя у престола Божия и чувствуя, что он не в силах совершить таинственное, превосходящее всякую человеческую силу священнодействие, в момент растерянности сказал: «Господи! Я не могу! Я не могу!» – и вдруг почувствовал, что между ним и святым престолом Кто-то стал; ему пришлось отступить и стоять на расстоянии от престола, потому что Некто невидимо стоял, совершая ту Божественную литургию, которую Он Единственный может совершить. Это – наше время, это в пределах моего личного опыта.

Значит, то, что верно о Христе по отношению к твари, по отношению к человеку, должно быть истиной и реальностью в жизни, в опыте, в действии пастыря. Христос был во славе Отчей. По любви, жертвенной, крестной любви к падшему человеку, Он стал человеком; Он принял на Себя все ограничения тварности; Он принял на Себя жизнь в до ужаса сузившемся через грех тварном мире; Он понес на Себе все последствия падения. И не только в жажде, не только в голоде, не только в утомлении, не только в смятении духа, не только в слезах над Лазарем, не только смертью телесной, физической на Кресте. Он с нами так соединился, настолько стал един с нами, настолько захотел быть тем, что мы есть, чтобы мы стали тем, что Он есть, – что свободной волей, трагически, крестно, убийственно принял на Себя боголишенность, которая убивает человека. Человек потерял Бога грехом, Христос как бы потерял Бога в момент Своей крестной смерти, чтобы ничем не быть отделенным от судьбы человека.

Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? (Мк. 15: 34) – самый страшный крик, который когда-либо звучал в человеческой истории, потому что Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, захотел так быть единым с *сынами противления*, что согласился, как они, вместе с ними, лишиться Бога. И от этого боголишения, от этой страшной богооставленности Он умер, как всякий сын человеческий, и сошел во ад.

Мы ведь свидетельствуем иконами, преданием церковным, верой Церкви, что по смерти Христос сошел во ад; но мы должны понимать, что это значит! Когда мы думаем об аде, мы думаем картинно, фольклорно о месте страшных мучений. Но самое страшное в аде Ветхого Завета, в *шеоле*, о котором говорит псалмопевец или другие места Священного Писания, не мучения, а то, что это место, где Бога нет и не будет никогда, это место последнего, безнадежного отсутствия Божия, предельной богооставленности навсегда. Грехом Адама в этот ад сходили все. Прочтите притчу о богаче и Лазаре; и богач, и Лазарь, и Авраам находятся в этом шеоле; судьба их различна, страдание их различно, а оставленность – почти одинакова; между Богом и этим местом нет пути. И когда Христос сходит во ад, потеряв Бога в этом ужасе боголишенности, Он, как всякий человек, потерявший Бога, уходит в те глубины, из которых как будто нет возврата и где нет встречи с Богом. И ад широко раскрывается, чтобы уловить Того, Кто на земле его побеждал все время, во всем, везде. И – о ужас! – обнаруживает, что с этой человеческой душой вошла в ад полнота Божественного присутствия.

Это путь Христов. Каков же наш путь? Если мы пастыри, если мы священники во Христе, то мы должны пройти весь путь Христов в готовности так быть едиными и с заблудшей овцой, и с богооставленным, и с грешником – со всяким человеком, чтобы, если нужно, пойти на ужас Гефсиманской ночи, пойти на ужас телесной смерти, пойти на ужас боголишенности... В момент, когда мы думаем только о том, что смерть откроет нам наконец путь к Богу, мы должны быть готовы сойти в человеческий, земной ад и, если нужно, никого не оставить без нашей милости, где бы он ни оказался.

Когда Христос говорит: *Я знаю Отца и потому отдаю душу Свою за овец* (Ин. 10: 15), – Он говорит о том, что так знает крестную, жертвенную Божественную любовь, что отдает всего Себя: вечность Свою – на погубление, славу Свою – на потухание, тело Свое – на поругание, душу Свою – на терзание, всего Себя отдает, каждый час. Спаситель говорит: *За них Аз свящусь Себе, за них Я посвящаю Себя* (Ин. 17: 19). Это значит две вещи. С одной стороны: «Я отдаю Себя в жертву», а с другой стороны: «Я приготавливаю Себя к этой жертве такой совершенной чистотой, святостью, богоотданностью, чтобы быть достойным, непорочным Агнцем, закланным прежде начала мира». Вот стояние священническое.

Я не могу в одной беседе сказать вам очень многое, но хоть это воспримите где-то с краю того, что найдете в учебниках, где так богато и так хорошо очень многое сказано. Но если мы этого не знаем, то из учебников мы можем научиться тому, как быть священником, но не *какими* священниками быть. Образ у нас только один; не пример даже, а существо нашего священства одно: Господь Иисус Христос. *Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас* (Ин. 20: 21). *Я вам дал пример, чтобы вы ему последовали. Как Я умыл ноги вам, так и вы умывайте друг другу ноги* (Ин. 13: 14–15). *Кто хочет из вас быть первый, да будет всем слуга* (Мк. 9: 35).

Нет власти у священника; нет прав у священника; есть только страшная и дивная, подлинно Божественная привилегия – любить до смерти, и смерти крестной. Кто-то из западных подвижников, спрошенный, что такое священник, ответил: «Священник – это распятый человек». Это человек, который отрекся, и отрекается, и каждый час должен заново отречься от себя, от каких бы то ни было прав; не только от ложного права творить зло и быть грешником, но даже и от законных прав человечности, человеческой жизни. Он – образ Христов, он – икона, он – Христова забота, он – Христова любовь; он – Христова кровь, которая может быть излита.

На этом пути есть несколько вещей, которые священник должен делать. Первое – молиться; предстоять перед Богом за паству, за народ. Но предстоять за народ не значит чувствовать себя отдельным, привилегированным человеком, который имеет доступ в алтарь и возносит молитвы. Предстоять перед Богом за народ значит чувствовать себя настолько единым с этим народом, что каждый крик этого народа, каждый стон, каждая мольба, каждый возглас покаяния, каждая радость проходит через него, как вода течет по желобу. А это порой бывает очень страшно. Помню, когда я был молодым священником, у меня в приходе был человек, от которого я приходил в ужас и отвращение и внутреннее содрогание. И однако мне было ясно, что если я не могу сказать, что даю через себя, в себе место молитве этого человека, если я не могу сказать перед Богом: «Он и я – одно», то я не имею права служить Литургию за него. Помню, я приходил в церковь за два, за три часа перед службой, стоял перед Царскими вратами и бился и бился до момента, когда мог, наконец, сказать: «Да, Господи, пусть через меня пройдет молитва этого человека; я его признаю как плоть от плоти моей и кровь от крови моей, хотя переживаю его, как проказу». И так в течение больше десяти лет пришлось бороться. И так борются бесчисленные люди. Конечно, не все так плохи, у других людей больше горения, больше духа, больше силы, пусть так; но рано или поздно каждому, может, придется поставить вопрос: могу ли я сказать об этом человеке: «Он плоть от плоти моей, он кровь от крови моей, и мы перед Тобой, Господи, как одно; или вместе нас спаси, или вместе отвергни!».

В конце древнего чина исповеди на Руси, после того как была принесена исповедь, когда уже была дана разрешительная молитва, кающийся клал свою руку на выю, на шею, священника – и священник ему говорил: «Грехи твои на мне; иди с миром». Грехи твои на мне, потому что во мне действует Христос, Который Один только может взять чужие грехи. Но также и в другом смысле: когда кто-нибудь так тебе поверил, что открылся тебе, исповедал свою душу, – твоя судьба и его судьба переплелись на веки вечные и навсегда. То борение, которое в человеке происходит, – не борьба против плоти и крови, не борьба против его человечества, вещества, а борьба *с силами злобы поднебесной* (см. Еф. 6: 12). И если человек тебе открыл свое борение, свою борьбу, свой грех, свою пораженность, ты, священник, должен ради него, для него, вместе с ним побеждать в себе то зло, которого ты стал вольно и свободно сопричастником, приняв его исповедь и признав его человеком, который является плотью и кровью твоей. Исповедующий – это человек, которому другой так может поверить, чтобы открыться до конца. В его любовь можно поверить и знать: ты не будешь отвергнут, в его правду можно поверить и знать: ты не будешь обманут, в его верность можно поверить и знать: он никогда не отступится от тебя, ни в этом веке, ни в будущем. Таковы ли мы, священники, исповедующие другого?

Но это относится не только к священнику, это относится ко всем. Каждая исповедь может быть последней исповедью человека; каждую исповедь человек должен приносить Богу, словно это его предсмертный час. Каждую исповедь должен принимать священник с таким же благоговением, с таким же сознанием ответственности, с таким же трепетным ужасом и трепетной любовью, с какими он препровождал бы на суд, шел бы на суд Божий вместе с человеком, который у него исповедуется. И так же должны понимать исповедь те люди, которые толпятся и ждут своей очереди. Человек стоит на Страшном суде: уйдет ли он оправданным – или я увижу воочию вечную гибель брата или сестры? Если бы только мы это понимали, разве мы с нетерпением относились бы к долгой исповеди, когда человек предсмертно, наконец, напоследок старается спастись от вечного осуждения? А разве мы учим этому кого-нибудь, начиная с себя самих? Разве мы в этом смысле не грешим вместе с народом, который нетерпеливо относится к долгой исповеди, потому что «время проходит, моя очередь могла бы настать»? Если ты не сумел проявить любовь, заботливость, молитву по отношению к этому человеку, который перед Божиим судом, о чем ты думаешь, чего сам от Бога ожидаешь? Ведь какой мерой мерил, такой мерой и отмерится.

И последнее, что мне хотелось бы сказать (и конечно, все это очень бегло), – одно только слово о проповеди: как проповедовать, как готовиться? Скажу так: всей жизнью готовься. К проповеди не готовятся, просто засева за письменный стол и окружив себя толкованиями Святых Отцов. Когда Отцы говорили, слова их шли из сердца, они *кричали* из глубины своего опыта. Если мы будем просто повторять то, что они говорили, может никуда не достичь их крик. У святого Иоанна Лествичника есть место, где он говорит, что слово Божие подобно стреле, которая способна ударить в цель и пробить щит. Но, говорит он, стрела останется бездейственной, если нет лука, тетивы, крепкой руки и верного глаза. Вот это – мы. Слово Божие – как прямая, чистая стрела, способная пробить любую толщу греха, любую окаменелость; но она не полетит, если кто-нибудь не пустит эту стрелу, если не будет верного глаза, который ее направляет, мощной руки, которая натянет лук. И в этом наша громадная ответственность.

О чем говорить? Очень просто: проповедь не надо говорить никому, кроме как самому себе. Стань перед судом евангельского отрывка, поставь себе вопрос о том, как ты сам стоишь перед ним, и как этот отрывок, Божие слово живое, личное, тебя судит, что оно тебе говорит, что ты можешь ответить Живому Богу, Который требует ответа, и действия, и покаяния, и новой жизни, – и скажи. Если слово, которое ты говоришь в проповеди, тебя ударяет в душу, если глубоко вонзается, как стрела, в твое собственное сердце, оно ударит и в чужую душу и вонзится в чужое сердце. Но если проповедник будет говорить «вот этим людям» то, что, ему думается, им полезно знать, то большей частью это будет бесполезно, потому что ума это, может быть, коснется (если проповедник окажется способным умно об этом сказать); но ничью жизнь это не перевернет.

Самая сильная проповедь, которую я слышал в жизни, была проповедь не «умного», скромного, самого обыкновенного священника, которого я знал. Он стал в Великую пятницу перед Плащаницей с намерением проповедовать, долго молчал и плакал, потом повернулся к нам и сказал: «Сегодня Христос умер за нас...», – стал на колени и зарыдал. И после этого было долгое, долгое молчание и истинный плач из глубин души у многих. О, про Распятие можно много сказать! Но этого нельзя так сказать, если твою душу не пронзило оружие. Вот так надо проповедовать.

Конечно, надо иметь какое-то знание; конечно, надо понимать, о чем говорит Евангелие или отрывок Священного Писания, о котором ты будешь говорить; но этого мало! Если твоя проповедь тебя самого не ранит в самые глубины, если ты сам не предстоишь в ужасе перед Богом и не говоришь в Его имя – может быть, себе в суд и в осуждение, но во спасение другим, – то такая проповедь ничью жизнь не переменит. Не от Священного Писания, не от мудрости говорил Иоанн Креститель; он говорил из глубин зажегшегося сердца, из глубин покаявшейся совести, из глубин человека, который так возлюбил Бога, так возлюбил других людей, что всю свою жизнь погубил, по-человечески говоря, чтобы быть готовым сказать одно живое слово за Бога. И потому Священное Писание его называет *гласом вопиющего в пустыне* (Мк. 1: 3). Это был голос Божий, который звучал через человека.

Дай нам Бог научиться хоть чему-то из дивных слов Священного Писания, из образа Христа, из учения Отцов, из примера святых. И тогда наше пастырство, которое должно быть в первую очередь, раньше всего сораспятием со Христом и воскресением жизни, принесет плод во спасение и в чужой жизни – вернее, в жизни брата, сестры, потому что «чужих» нет, – и в нашей жизни.

– *С одной стороны, верующие люди часто хотят видеть в священнике человека не от мира сего. С другой стороны, Бог посылает священника с миссией именно в мир. Как священнику мудро сочетать в себе светское с духовным, Божественное с человеческим, чтобы его служение было и полезным, и спасительным?*²

² Первые два вопроса поставил ректор Академии, архиепископ Дмитровский (ныне митрополит Киевский) Владимир

– Скажу три вещи на это. Первое: мы напрасно и ошибочно разделяем деятельность от созерцания и напрасно противопоставляем область Божественную человеческой области. Если определять деятельность по ее точке приложения – общественная работа, преподавание, ректорство и т. д., конечно, деятельность кажется совершенно лишенной созерцательного момента; и если мы определяем созерцание монашеской, затворнической кельей, то, конечно, не видно, в чем тут деятельность. Но надо думать не об очевидном, а всегда восходить ко Христу. И что мы видим во Христе? *Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен* (Ин. 5: 30). Христос вслух произносит слова, которые покоятся в бездонном, таинственном Божественном молчании; Он слушает Отца и провозглашает суд Божий. И еще: *Отец Мой доныне делает, и Я делаю* (Ин. 5: 17). Отец показывает Сыну все, что творит Сам. Христос созерцает дела Божии и осуществляет их в жизни. Христианская деятельность не определяется точкой приложения; можно делать что угодно как христианин и делать то же самое не как христианин. Христианская деятельность также не определяется лишь тем, что мы поступаем, применяя, как можно более добросовестно, заповеди, относящиеся к данному положению. Христианская деятельность в своей предельной сущности – это действие Божие, совершаемое через человека. Это деятельность человека, который так сумел вслушаться в слово Божие, что провозглашает Божие слово; так взглянуть в пути Божии, что его поступки – делание, которое Господь совершает через него.

В этом смысле мудрость человеческая и мудрость Божия глубоко различны. Человеческая мудрость строится из опыта прошлого, который применяется в данное время, в настоящем, или проектируется на будущее. Мудрость Божия действует иначе. Кто-то из Отцов сказал, что причинность в действиях Божиих не позади, а впереди. Бог действует не только «потому что», но «ввиду того», что знает, куда Он ведет всю тварь. И в действиях Божиих всегда есть неожиданность, они вносят что-то, чего ранее не было в данной ситуации. Типичное действие Божие в ответ на человеческое падение и на человеческую историю – Воплощение. Христос не «выправляет» человеческие пути, Он делается человеком, и через Его вочеловечение человеческая история и человеческая жизнь приобретают новое измерение, и человеческая природа приобретает новое качество божественности. Так что если мы хотим действовать в мире как христиане – и это относится ко всему: к работе хозяйки дома, к преподаванию, к общественной или политической деятельности, ко всему без остатка, – христианин должен во всем участвовать или может во всем участвовать. Но он будет участвовать в полном смысле слова тогда, когда путем углубленной молитвы, глубокого созерцательного соотношения с Богом будет подлинно Божиим присутствием, проводником путей Божиих, со всей их неожиданностью, со всей присущей им чудотворной силой преображения и изменения.

Второе (это будет короче, Владыко, утешаю вас) относится к славе, в которой служит священник, и к тому, что хотят, чтобы он был от мира сего или не от мира. В самом трудном положении человек посредственный, потому что такой неприемлем ни Богу, ни людям; такой неубедителен ни в каком направлении. Но если человек свят, его святость сама по себе свидетельство, доказательство и имеет силу авторитета – не власти, а убедительности. В этом разница между властью и авторитетом: власть имеет тот, кто может заставить, авторитет есть у того, чьи слова являются истиной и жизнью и духом, – как говорили о Христовых словах. Человек может быть совершенно безвластным, не иметь никакого «места» в обществе, как Христос, Который родился в небольшой, презренной, оккупированной стране – и изменил весь мир. Если человек умеет стоять перед Богом в сокрушении сердца, в сильной любви, то будь он праведник или грешник, он может послужить во спасение другим людям.

Священник, который на меня произвел самое потрясающее впечатление на исповеди, был человек, который пережил очень страшную трагедию в жизни и начал пить. Пил он отчаянно. Одно время он оказался нашим приходским священником, потому что нашего настоятеля немцы посадили в концентрационный лагерь. Я тогда был молод, настроен пуритански, аскетически, рвался в небо когтями и зубами и всеми своими силами и думал, что у меня это как будто даже получается. Я пришел на исповедь к нему. Он был в тот день трезв; он слушал мою исповедь с плачем, он плакал, как Марфа и Мария над Лазарем, не пьяными слезами, а плакал о том, что человек еще молодой, который может стать Христовым, грешит, падает, не понимает, что такое смирение, не понимает, что такое любовь, не понимает путей Божиих. И когда я кончил, он мне сказал: «Вы ведь знаете меня – и знаете, какой я недостойный человек и недостойный священник; но слово Божие остается истинным, и я вам скажу правду о вас...». И сказал; и плакал надо мной. И я никогда в жизни не встречал человека, который дошел до той глубины смирения, до какой дошел этот священник, – пусть путем очень страшным. Но я думаю (потом я был его духовником несколько лет перед его смертью), что та мера смирения и любви, которая в нем была, конечно, загладила весь грех его жизни; потому что в конечном итоге плод жизни – любовь и смирение, ничто другое.

– Спасибо за прекрасные примеры. Но мой вопрос сводился к следующему: насколько человек, облеченный священным саном, уже отличающийся от внешнего мира, от других людей, должен быть изолированным от светской жизни, а вместе с тем и не изолированным? Как это сочетать, чтобы не создавалось впечатление, которое иногда бывает: священник попадает в нецерковное, нерелигиозное общество; с ним, как с живым человеком, начинается человеческий разговор, контакт, беседа, и оказывается, что священник выглядит очень бледно. Он в себе носит только схему богослужения и требоисправления и совершенно отрешен от мира, от всех интересов, проблем мира, от его достижений, от культуры, от истории, от всего, что есть в мире. И создается впечатление: ну вот, аудитория у него на десять веков отстала и он сам таков... На каком языке священнику говорить с современным человеком? Меня этот элемент, это место интересует.

– Я думаю, что в церковной традиции жизни дан совершенно ясный ответ на это. Возьмите патристическую эпоху: все Отцы Церкви были людьми большой культуры, укорененными в мире, в котором они родились, который они знали очень глубоко и тонко, который они сопоставляли с евангельской вестью, с благовестием Нового Завета и в выражениях которого старались передать это благовестие. Потому что передавать благовестие на языке, непонятном слушателю, – то же самое, что говорить на «птичьем» языке, пользы будет столько же. Мне кажется, что, когда, например, Тертуллиан говорил: «Ничто человеческое мне не чуждо», – он выражал эту же самую мысль.

Грех нам должен быть чужд; причем чужд в том смысле, что мы не должны приобщаться греху. Но не знать грех, не знать о грехе, не иметь того глубокого психологического и духовно-психологического знания греха, какое было у Отцов Церкви, у аскетов, подвижников, – значит обречь себя на то, чтобы проповедовать добродетель, осуждать грех – и не быть в состоянии никому помочь. Может быть, у меня уклон в терапевтическую сторону, потому что я врач по образованию, но мне кажется, что, если священник хочет говорить с людьми этого мира, очень насущно ему знать все, что можно знать о том мире, в котором он живет. Если же мы просто не станем говорить с людьми этого мира, то мы обречены стать ископаемыми в лучшем случае, а в свое время и «закопаемыми», когда ничего больше не останется, кроме наших могил. Я знаю просто на своем опыте, относительно небольшом, но все-таки уже 25-летнем, в довольно многообразной обстановке, что, если священник просто святой (это не так часто бывает), с него ничего не спросят. Если у него есть различение духов, если им говорит Бог, если к нему можно

прийти на исповедь и быть духовно исцеленным, если новая жизнь начинается от встречи с ним, – разумеется, его не станут спрашивать о мирском. Но такие люди редки, и никто из нас не имеет права сказать: «Я – человек духа, и мне ничего другого не нужно». А в обычной, нормальной жизни, может быть, по уму и провожают, но встречают, несомненно, по одежке. И когда вдобавок на нас одежда не совсем привычная, то очень важно, чтобы в священнике, одетом непривычно, ведущем себя, может быть, несколько необычайно, люди встречали человека, который о земной жизни знает больше, а не меньше их. Я сейчас не говорю, разумеется, о том, что нам надо быть на уровне и науки, и литературы, и искусства, и всего, вместе взятого. Но я вам дам такой пример.

Несколько лет назад ко мне пришла чета: она русская, он англичанин. Она была верующая, а он просто, самым элементарным образом неверующий; они просили их венчать. Я поговорил с ними и, когда обнаружил, что жених неверующий, сказал, что не стану их венчать, потому что не стану таинство давать неверующему. Это его изумило: значит, я всерьез принимаю то, что делаю? Откуда это? И он начал мне ставить вопрос за вопросом. В конце разговора он сказал мне: «Знаете, это настолько важно, что я хочу отложить на шесть месяцев свадьбу и сначала узнать, что вы имеете сказать о жизни». И мы стали с ним разбирать в течение каких-то трех месяцев нашу веру, исходя от чина венчания, бракосочетания. Я ему не говорил почти ничего о Боге, вначале – просто ничего; я только ему говорил, что Церковь знает о человеческой любви, что вложено в этот чин. И после двух-трех бесед он сказал: «Знаете, мне в голову не приходило, что Церковь о любви знает то, чего мы не знаем в миру». И так, шаг за шагом, он в свое время крестился и был венчан в Церкви.

Мне приходится постоянно сталкиваться со смежной областью: болезнь, страдание, смерть, этические принципы медицинской профессии. Об этом часто говорят священники в группах докторов или среди студентов-медиков, но почти всегда они малоубедительны, потому что летают по поднебесью, и конкретно это не встречает понимания тех, к кому они обращаются. Я сейчас читаю очень много лекций и веду семинары на эти темы в университетах и медицинских школах; по образованию я естествоиспытатель и врач и потому знаю, о чем речь идет³.

То же самое в других областях. Бывает, со священником заговорят о чем-то очень в духовной перспективе значительном для окружающих людей – а он никогда не слышал. Помню случай. Вы, вероятно, слышали о западном ученом и священнике Тейяре де Шардене. Одному из наших западных архиереев был поставлен какой-то вопрос по его поводу года три-четыре спустя после того, как вышли его основные книги; тот никогда не слышал о нем. Разговор на этом прекратился: кому интересно с ним говорить? До него еще не дошло то, что волнует всех вокруг. Когда-то еще дойдет; а когда дойдет – что он в этом поймет?

Мне кажется, что не так относится Бог к тварному миру. Бог этот мир сотворил; для Него все, что составляет предмет нашего научного изыскания, является в своем роде богословием, то есть познанием о Боге. *Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь* (Пс. 18: 2). То, что относится к красоте мира, – это познание о Боге. Все творчество есть какая-то приобщенность к Божественному творчеству – и это говорю не я, это говорит святой Григорий Палама, один из величайших Отцов Церкви. Мы не имеем права не знать, какими путями идет человечество, потому что христианская вера, библейское предание в целом – единственное предание на свете, которое историю принимает всерьез и материальный мир принимает настолько всерьез, что мы верим в воскрешение мертвых, плоти воскрешение, а не только в вечность неумирающей души. И я думаю, что нам необходимо глубоко, утонченно, широко знать и познавать все то, что составляет умственную, душевную, историческую, общественную, политическую мысль человечества. Не потому что в Евангелии есть

³ См.: Митрополит Антоний Сурожский. Жизнь. Болезнь. Смерть. М.: Зачатьевский монастырь, 1995 и др. изд.; Труды. М.: Практика, 2002.

какая-то политическая, или общественная, или эстетическая доктрина, а потому что нет такой области, на которую Божественная благодать не бросала бы луч света, преображая то, что способно на вечную жизнь, и иссушая то, что не имеет места в Царствии Божиим. И наше дело – иметь более глубокое понимание мира, чем есть у самого мира.

Было время, когда Церковь (то есть сознание апостольское, сознание Отцов) была больше этого мира. Мир был мал для Церкви, Церковь его держала в ладони. А постепенно – потому что Церковь обмирщилась, не потому что она стала святее, – она стала мельчать, и теперь Церковь является одним из очень небольших обществ среди огромного человеческого общества. Не потому что мы немногочисленны, это не важно – апостолов было всего двенадцать, и они охватывали своим видением и действием весь мир; а потому что мы стали мелки и близоруки. Под предлогом, что мы не хотим касаться греха, мы не касаемся порой самого святого и глубокого, что есть в человеке, на случай – вдруг то в нем какая-то зараза. И не читаем того, что люди пишут, потому что они говорят не то, что мы сказали бы. Беда в том, что среди нас, не говорящих и не пишущих, очень мало людей, способных написать что-нибудь такое большое, как часто пишут люди в миру. И мы должны понимать их лучше, чем они сами себя понимают. Это мое глубокое убеждение.

Это не значит, что мы должны забыть молитву для того, чтобы заниматься чем-то другим; это значит, что мы должны везде и всюду быть присутствием молитвы и того измерения, которое называется Божественное присутствие. Но и в уме, и в сердце, и в воле, и в действии, и в научном исследовании, и в философском мышлении, во всем без исключения, даже там, где нам нет прямого доступа, у нас есть возможность иметь глубокое понимание – и это уже много.

– Пастырь-инок и пастырь-священник, связанный узами семьи: каковы трудности их пастырского служения?

– К вопросу можно подойти двояко. Можно говорить о чисто житейских трудностях священнической семьи и о какой-то «легкости» монашеского состояния, если о монашестве думать только в порядке холостяка, свободного от мирских забот. Но об этом у вас есть достаточно ясное представление без меня и, что касается вашей обстановки, гораздо более ясное, чем у меня.

Между священством женатым и монашествующим есть глубокое различие. Говоря чрезвычайно коротко: Священное Писание дает нам образ Царства Божия в притчах брачной радости и брачного единства. Об одиноком пути Священное Писание говорит словами, например, Книги Откровения, где мы призваны следовать за Агнцем, куда бы Он ни пошел (Откр. 14: 4). Это два пути. О них сейчас говорить я просто не могу, потому что каждый потребовал бы, разумеется, целой беседы. Но когда женатый священник старается жить, будто у него нет семьи, быть как бы холостяком, у которого в придаток семья, и рассматривает жену просто как кухарку и хозяйку, а детей – как большую радость или, наоборот, помеху, если помещения не хватает, то он делает глубочайшую ошибку.

Семья – нечто совершенно иное. Я помню замечательного священника на Западе (я был духовником всей семьи). Через очень короткое время после его приезда в Англию я обнаружил, что семья несчастная-разнесчастная. Я пригляделся и стал спрашивать и жену, и священника. Обнаружилось, что он всю жизнь отдает пастве; семье никакого времени не остается. Жена брошена, дети оставлены, он возвращается в состоянии такого истощения, что у него не хватает никаких душевных сил что-то делать. Я ему сказал, что он совершает ошибку. Он возразил: «Нет! Бог нам велел всем жертвовать для Его служения; Аврааму было велено пожертвовать Исааком». Я ответил: «Да! Но, во-первых, Авраам пожертвовал Исааком только один раз, а не каждый божий день; а во-вторых, Бог подставил ягненка вместо Исаака. А ты приносишь каждый божий день и жену, и своих двух детей, как маленьких Исааков; и неудивительно, что

они устали быть жертвами заклёния». – «Что же мне делать?». – «Стань плохим священником; урежь ради семьи половину времени твоей священнической деятельности, пастырских посещений и т. д.». Он сказал: «Бог меня осудит!». – «Нет! Он меня осудит, потому что ты это сделаешь по послушанию, а я за это в ад пойду, и это не твое дело». В общем, кончилось тем, что он меня послушался. И через полгода его жена пришла и мне сказала: «Что вы сделали с отцом? Мы так счастливы дома!». Я спросил: «Ну а что: только счастливы?». «Нет, – говорит, – раньше В. бегал по всему городу, а теперь весь город к нам идет!».

И в этом все дело. Если семья священника является тем местом, которое сияет человеческими отношениями, обогащенными глубиной Божественного присутствия, люди пойдут, как мотыльки на свет. А если забыть, что у вас семья, и бегать, бегать, бегать, – то можно будет сказать и про вас, хотя, может быть, с меньшей долей правды, то, что митрополит Филарет Московский о себе раз сказал. Его упрекнули: Христос, мол, шестерней в коляске не ездил. Он ответил: «Да! Христос ходил пешком – и был окружен толпами, а я со своей шестерней не могу догнать своих прихожан».

– Возможно ли спасение вне христианской религии?

– Начну с конца. Один из больших духовников тридцатых годов, который умер в Париже, отец Александр Ельчанинов, говорил, что нет такой человеческой души, сколько бы ни блуждавшей на земле, которая, встретив лицом к лицу Христа, не падет к Его ногам и не скажет: «Тебя, Господи, я всю земную жизнь только и искала».

Если говорить об истине, о вере, о пути – нет другой Истины, которая была бы полнотой, нет другого Пути, нет другой Жизни, как Христос, и нет другой Двери, как Христос. Но все не так просто, как кажется. Потому что, когда мы говорим, что Христос есть Истина, оказывается, что Истина – это Некто, это Живое Лицо, а не система предложений. И в этом громадная разница. Есть много людей, которые не могут понять то, что мы говорим о Христе и о Боге; еще больше людей могли бы понять, но, глядя на нас, думают: «Если это – все, что их Бог может сделать из Своих друзей, то, простите, не стоит с Ним и дружить: и без Него люди бывают лучше».

Так что тут два элемента. Первый – что Священное Писание непонятно всем непосредственно, за ним есть очень сложное и богатое культурное прошлое: его выражения, слова, методика изъяснения вещей. Когда мы проповедуем, мы должны бы быть теми, кто на новом языке говорит вечные истины. К сожалению, как я раньше говорил по поводу проповеди, мы говорим на языке, который, в зависимости от степени, в какой нас хотят обругать, называют поповским, птичьим, семинарским, писарским, каким хотите, только не человеческим. Очень многие проповеди надо уметь слушать. Начинается русская фраза, а потом проповедник поехал какой-то цитатой на славянском языке, как будто он по-русски сказать не может. Ему кажется, что в этом есть какая-то красота, а слушатель не понял; кто виноват? Едва ли тот, кто слушал.

Так что на нас лежит очень тяжкая ответственность. А уж когда люди смотрят на то, как мы живем... Когда мы говорим: «Христиане не лгут, христиане трезвы, христиане чисты, христиане то и се», – люди пожимают плечами и отвечают: «Может быть, христиане таковы, но в таком случае вы не христиане! А если вы христиане, то ваши слова – просто сказки для детей». Я помню безбожника, который прочел Евангелие и потом мне сказал (простите за выражение, я его слова повторяю): «Ну и сволочи же вы, христиане! У вас такая книга, а что вы из нее сделали?!». После этого в какой мере можем мы сказать, что вся ответственность и вина за то, что люди не веруют или уходят в иные религии, избирают какие-нибудь философские или мистические учения, – на них? Встреть они Христа, они, может быть, пошли бы за Ним, как никто из нас не идет. Но к сожалению, они встретили меня, тебя, его или нас, а за нами идти – нет, спасибо!

Отдельный вопрос о нехристианских религиях: полноты в них нет. Но в них есть какое-то содержание, которое порой очень богато: вера в Бога, опытное знание молитвы и через молитву – опытное знание Бога, Которого они, может быть, и неверно истолковывают, но Которого они знают гораздо больше, чем нам порой кажется. Когда живешь, например, вместе с какой-нибудь группой тех, кого мы назвали бы язычниками, слушаешь их, иногда поражаешься. Помню, в Индии я провел шесть часов в языческом храме, и люди там действительно молились Живому Богу, глубоко и реально. То, что они между собой и Живым Богом ставили идола или какое-то представление, которое неистинно, не мешало им, несмотря на это, молиться Тому Богу, Который слышит, а не тому, которого они себе создали.

Мы тоже создаем кумиров в своем роде. Есть люди, которые себе создают кумира на низшем уровне из типикона, из уставного богослужения, из определенного типа пения, из определенного типа иконописи. Все это – правда, все это справедливо; но это не все. Есть место у святого Григория Богослова, где он говорит, что, если мы соберем все данные Священного Писания, все учение Церкви о Боге и из этого сделаем вполне законченную картину и скажем: «Вот наш Бог», – мы станем идолопоклонниками. Потому что все, что мы знаем о Боге, это отблески и приближения, а Бог всегда бесконечно глубже и больше, и всякая законченная картина – ложь, идол. Поэтому нам самим надо в этом отношении быть осторожными.

Христианство единственно и неповторимо не мировоззрением, не нравственным учением, не формой богослужения, а благодаря тому факту, что Живой Бог стал человеком и, что бы ни происходило на земле, мы живем на земле, которая Воплощением и даром Святого Духа неразлучно и навсегда соединена с Живым Богом. Люди могут об этом не знать, не чувствовать, до них эта весть не дошла или была принесена в такой форме, что они ее не могли понять или не могли ей поверить. Но факт остается фактом: мы живем на новой земле, куда уже пришел конец времен и завершение всей твари, куда Царство Божие пришло в силу. И в зависимости от того, как человек живет, он и станет перед Богом. Возьмите Послание апостола Павла к римлянам. Он говорит, что язычники творят правду, потому что закон написан у них в сердцах и они будут судиться по этому закону, как евреи будут судиться по данному им закону, как мы будем судиться по данной нам благодати. И неизвестно еще, кто станет перед Богом и окажется прав: тот ли, кто жил по правде до предела своих возможностей при малом знании, или тот, кто, обладая всем, чем можно обладать, живет небрежно и является соблазном.

– *Что общего или отличительного между первозданным человеком и человеком искупленным?*

– Я думаю, что коротко можно ответить так: разница между тем и другим та же, что между невинностью и святостью. Невинность – данность, чистота снежного поля, по которому никто еще не прошел, чистота первой страницы тетради, в которую ничто еще не вписано. Святость – это искушенность, которая уже так созрела и окрепла, что не запятнается грехом, потому что знает, как его распознавать и отражать.

Кроме того, человек первозданный был создан, если так можно выразиться, как «возможность». Христос – осуществление этой возможности во всей полноте. И всякий человек во Христе приобщен этой осуществленности, реализации того, что было когда-то замыслом Божиим. Человек первозданный как бы зерно; человек искупленный и привитый ко Христу есть древо, приносящее плоды.

– *Каково взаимное влияние молитвы Иисусовой и Священного Писания?*

– Я стараюсь давать ответы короткие, и поэтому они все, конечно, страшно примитивны. Но можно сказать так: Священное Писание – это Бог, Который говорит к нам; молитва Иису-

сова – наше предстояние Богу. Когда мы поняли, кто мы, Кто – Он, нам остается только одно: раскрыться, открыть руки, открыть сердце, открыть ум и сказать: «Господи, помилуй!». И это «Господи, помилуй!» покрывает все наше положение по отношению к Богу.

На русском языке «милость», «милый» – одного корня. По-гречески слово, которое соответствует русскому «помилуй», того же корня, который дал «оливковое дерево», «оливковое масло». Об этом еще Отцы Церкви писали, хотя филологи воспринимают это с некоторой сдержанностью. Но пусть оно будет так: достаточно нам свидетельства Отцов. Вот вам еще несколько быстрых штрихов.

Первый раз речь об оливковом дереве идет в конце рассказа о потопе: Ной посылает из ковчега голубя, который приносит ему веточку оливкового дерева. Это значит: гнев Божий прекратился, прощение Божие дается свободно, даром, и впереди лежит все – время и пространство. Поэтому когда мы из глубины греха говорим: «Кирие, элейсон! Господи, помилуй!» – то мы взываем: «Господи! Да престанет Твой гнев! Господи, аще и согреших яко человек, прости мя, яко Бог щедр, видя немощь души моя... Господи, дай мне время!» – вспомните в службе повечерия молитву Манасии.

Дальше вторая картина: добрый самарянин возливает масло и вино, жгущее вино и исцеляющее масло. «Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, исцели! Твой гнев престал, Твое прощение дано, все возможно – а я ничего не могу: душой, телом, всем я изнемог... Исцели, чтобы я мог идти обратно в Небесный Иерусалим».

Третья картина: помазание священников и царей в Израиле. Там, где стоит священник, там, где стоит царь, может стоять только Христос, Царь твари, Первосвященник всей твари. Он стоит на грани единой, благой, всесвятии воли Божией и многообразной, противоречивой воли человеческой, призванный их соединять. Чтобы там стоять, человек должен приобщиться Божественной благодати, иначе он неспособен, ему невозможно там стоять, не сгорев в Божественном пламени: «Передо мной весь путь. Господь вернул мне силу и жизнь, но мое христианское призвание выше человеческих возможностей. Я не могу стать сыном, дочерью Живого Бога; только Бог может это надо мной совершить».

И вот *Кирие, элейсон! Господи, помилуй!* – говорит о всей человеческой судьбе, о всем, что только может или должно с человеком случиться. Священное Писание – глас Божий, возбуждающий нас: *встань! Восстани, спяй, и осветит тя Господь* (Еф. 5: 14)... *Встань! Препояши чресла твои!.. Кого пошлю Я? – Вот, я перед Тобой, Господи* (Ис. 6: 8). А наш ответ – предстояние перед Богом: устойчивое, смиренное, строгое, трезвое, в ожидании того, что человеку спастись невозможно, но Богу все возможно.

– *Скажите о вашем пастырско-врачебном опыте гордости.*

– Мне не ясно, должен ли я говорить о своей собственной гордыне или о том, как я рассматриваю гордость с пастырско-врачебной точки зрения, но мне удобнее второе, поэтому я остановлюсь на нем.

Мы путаем гордость с надменностью, с самолюбием. Большею частью, когда люди приходят на исповедь и говорят: «Каюсь в гордыне», я отвечаю: «Не кайтесь. Вы слишком мелки; у вас просто мелкое самолюбие». Люди этого не любят, потому что гораздо приятнее думать, что в тебе есть гордыня, ты хоть делаешься чем-то большим, даже если черным, а не светлым. А быть просто мелким бесом никому не хочется.

Но дело в том, что гордость не является просто очень значительной долей самомнения, надменности, наглости, самоутверждения. Гордость – то состояние, когда человек воображает, что он самодовлеющ: мне Бог не нужен, мне человек не нужен, я – абсолютный центр... Это – окончательная, всеконечная замурованность, всеконечный плен в глубочайшем и разрушительном одиночестве. Вот что составляет самую природу гордости, гордыни: утверждение себя

как центра и самодовлеющей единицы, которое и ближнего, и Бога делает лишними. Это грех сатаны; здесь приобщенность сатанинским энергиям. И это, конечно, даже в зачаточных моментах не может идти без соответствующих психологических изменений. Есть психиатрические изменения, есть чисто психологические, но все они центрируются на этом одиночестве, которое сначала есть отвержение другого, а потом начинает быть замурованностью в себе, до смерти включительно.

Французский писатель Сартр написал пьесу, в которой представляет группу людей, обреченных навек остаться замкнутыми, закрытыми в одной комнате друг с другом. Они постепенно обнаруживают, что «ад – это другие»: агрессия других, существование других, требование других, то, что никогда нельзя остаться одному, – все время кто-то, кто-то, кто-то. Потом они начинают приспосабливаться и другого исключать, до момента, когда вдруг никого вокруг них не остается. И тут они обнаруживают: ад – это я, когда никого не осталось, ни Бога, ни другого человека. Вот сущность духовной трагедии гордости и психологической разрушительности гордости.

– Какие основания для вменения Адамова греха роду человеческому?

– Я думаю, что слово «вменение» очень опасное, потому что ставит весь вопрос на юридическую плоскость: один согрешил – и все за него наказаны. В первородном грехе два элемента: один – личный грех Адама, его грех и ответственность, и другой – следствие этого греха, которое нам передается. Адам согрешил, потерял Бога, стал смертным, потерял рай. Все рожденные от него рождаются смертными и вне рая (рай, понятый, разумеется, не как сад, а как внутреннее состояние, где Бог и человек в простом, непосредственном, полном взаимном общении и проникновении). Одновременно со смертностью, с этим состоянием оторванности от Бога в человека внедряется и греховность. Мы рождаемся от Адама греховными, вернее, с поползновением ко греху, так же как от родителей-алкоголиков рождаются дети уже с предрасположенностью к алкоголизму, если только их не уберегут вовремя и на очень долгие годы. И в этом смысле лучше бы не говорить о «вменении» греха, потому что это сразу вызывает мысль о каком-то юридическом решении Бога: Адам, Ева согрешили – до третьего, или сотого, или миллионного поколения Я буду мстить... Лучше думать, как грех передается, как мы делаемся общниками, участниками греха просто потому, что мы – одной природы с ними и никаким образом не можем оторваться от нашего наследственного единства с ними.

Но это наше наследственное единство мы почти всегда вспоминаем в порядке греха. И забываем, что от наших прародителей мы получили не только наследие греха, но и тоску по Богу, жажду вечной жизни, какое-то знание и глубокое воспоминание о потерянном граде Китеже, и что родословная наша, упирающаяся в Адама и Еву, не является только родословной горя и несчастья, но тоже родословием богопознания и близости к Богу.

– Почему Пастырь допускает гибель овец: Анании и Сапфиры?

– Я думаю, что коротко и вразумительно на это ответить почти невозможно. Ответ, который я могу дать, поднимает гораздо больший вопрос: вопрос любви и свободы.

Вопрос падения и стояния – это вопрос любви, а вопрос любви – это вопрос свободы. Если бы мы не могли отпасть от Бога, отречься от Него, забыть свое собственное человеческое достоинство и т. д., если бы это было нам просто природно невозможно, если бы мы были способны только любить Бога и друг друга, то это нельзя было бы назвать любовью. Это было бы центристремительной силой, силой притяжения, это было бы просто механическим взаимоотношением. Любовь требует возможности прозрения, выбора, отдачи себя, принятия другого, жертвы; любовь трудна. Любовь в конечном итоге означает забыть себя совершенно и

помнить только любимого: Бога и человека в Боге. В этом отношении свобода неизбежно в себе содержит и всю нашу славу, потому что возлюбить – это самое прекрасное, что человек может сделать; содержит также всю трагедию человеческой жизни, личной и общественной, родовой, потому что можно ошибиться и отречься от своего пути.

Хочу дополнительно заметить еще одно: когда мы говорим о свободе, мы всегда думаем о ней как о выборе между различными возможностями, который мы можем делать беспрепятственно. Но это уже – выбор падшего человека. Стоять между светом и тьмой и не знать, которое из двух выбрать; между жизнью и смертью, между Богом и сатаной и колебаться – уже говорит о том, что я ранен грехом и неспособен на прямое решение. В паремии из Исайи, которая читается на Рождество, говорится, что родится Младенец, Который еще прежде того, как сумеет различить между добром и злом, выберет добро, потому что в Нем нет греха. Он чист, и потому Он безошибочно выберет жизнь, свет, Бога.

Мы думаем о свободе в порядке выбора. Слово «свобода» трудное, этимологически очень спорное слово, но одно из возможных его филологических толкований это «быть самим собой». Это толкование дает, например, Хомяков в своих сочинениях, на основании источников, которые он приводит. *Быть самим собой* – самое страшное, что может быть, и единственное, что стоит делать и чем стоит быть.

Второе значение слова «свобода» (я не собираюсь вас прогонять по всему словарю, укажу одно): германские языки употребляют слова Freiheit по-немецки, freedom по-английски для обозначения понятия, которое сейчас толкуется как «общественные права», «политические права». Но эти слова родственны санскритскому корню, который в своей глагольной форме значит «любить» и «быть любимым», а в других формах значит «мой любимый», «мой дорогой», «возлюбленный». В седой древности восприятие слова «свобода» было в порядке любви: свободен тот, кто от себя высвободился настолько, что может любить и принимать любовь без остатка. Тут свобода и любовь соединяются. Но они соединяются в конце долгого, подвижнического пути, когда человек изживает в себе злую свободу самохотного выбора для того, чтобы избрать свободу того, кто хочет быть самим собой, и этого заверченного себя подарить другому в акте совершенной любви: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15: 13).

– «Врачу, исцелися сам» – в аскетике часто говорится: не дерзай учить других, если еще не научился сам.

– Это правда в идеале; и конечно, если это относится непосредственно к моему сегодняшнему докладу, это еще более правда, чем вообще; но тогда надо выбрать радикальный аскетический путь, а не половинчатые пути. Если вы хотите уйти в пустыню, в затвор, закрыться в монастыре и не заниматься ничем иным, кроме очищения сердца, очищения ума, очищения плоти, выправления воли, погружения в Бога, искания чистой молитвы, – да. Но если вы хотите оставаться в общении с людьми, давать и получать (а получать – мы все получаем, где бы мы ни находились, если только не ушли просто в пустыню, как в древности уходили), тогда мы на себя должны взять ответственность и порой говорить, может быть, себе в суд или в осуждение. Я отлично понимаю, что, когда проповедую или читаю лекции и говорю то, что является Божией правдой, которой сам не касаюсь и пальцем, я говорю себе в суд и в осуждение. В какой-то день я встану перед Богом, и мои слова встанут против меня: ты говорил – и не творил... Но с другой стороны, я неспособен (я говорю в первом лице, потому что так проще) видеть человека в нужде и не сказать хоть то малое, что я уже знаю. С поправкой: «Конечно, я с примесью тебе говорю, конечно, я не говорю чистую, золотую правду; но вот попробуй из этих слов хоть какую-нибудь пользу получить». Если бы люди должны были ждать, чтобы все

вы, здесь учащиеся, сначала стали святыми, а потом сказали свою первую проповедь в церкви, то можно было бы – простите! – ждать долго! И людям некогда ждать.

Знаете, что утешительно? Святой Иоанн Лествичник где-то говорит, что есть два рода людей. Одни знают истину и ее провозглашают, но иногда не полностью творят; другие ее творят по их слову. И он прибавляет: единственная надежда тех, кто говорил, в том, что на Страшном суде, те, кто творил, станут перед Богом в их защиту и скажут: «Если бы он не сказал, я бы не знал и не сотворил».

И если подумать о житиях святых: у всех святых, кого мы только знаем, были, вероятно, приходские батюшки, которые святыми не сделались. Приходской священник курской церкви, где молился Прохор, будущий Серафим Саровский, в Святцы не вошел. Но он проповедовал слово Божие, и тот воспринял больше, чем проповедник мог дать, – у него слух оказался острее, душа отзывчивее, сила больше. И я думаю, что, когда оба они стоят перед Богом, святой Серафим, вероятно, с любовью смотрит на убогого батюшку, который делал, что только мог, – не блестяще, а сколько умел, и думает: он мне дал Христа; крещением, миропомазанием, причащением, чтением Евангелия и, может быть, убогой проповедью он меня сделал живым членом тела Христова... Поэтому, думаю, приходится, неминуемо приходится и проповедовать, и лекции читать, и говорить, зная, что говоришь, может быть, себе в суд и в осуждение, но пусть кому-нибудь это все-таки будет во спасение.

Или тогда иди на аскетический путь полностью, без пощады, без компромисса – не в каком-то относительном общении и без ответственности, а просто: без общения и без полной взаимной круговой поруки.

Пастырство⁴ (11 февраля 1982 г.)

Я не богослов, и поэтому буду говорить с вами просто как священник, который последние тридцать с небольшим лет был сначала на приходе, затем расширил эту приходскую жизнь до того, что она теперь стала епархиальной. И первое, что мне хочется сказать: Церковь строится не администрацией, не организованностью, а пастырским трудом. Христос пришел как Пастырь Своих овец, Он пришел с состраданием, крестной любовью спас людей. Для Него каждая душа была бесконечно дорога, и за каждую душу Он был готов отдать всю Свою жизнь и всю Свою смерть. Если мы говорим о пастырстве, то должны говорить именно в том порядке, в котором думаем о Пастыреначальнике Христе.

Это основное положение, к которому я прибавлю еще два-три вступительных замечания.

Детство я провел на границе великой азиатской равнины, и мне вспоминается, как образ, картинно и ярко, то, что я видел: бесконечную пустыню, равнину, бездонное небо над ней – и посреди этой равнины, между небом и землей, малюсенькую группу живых существ: пастуха и несколько животных. И меня поразило (конечно, не тогда, когда я был ребенком, а когда впоследствии задумался над этим), что перед лицом этой бесконечности пространства, перед лицом опасности жизни – от диких зверей, от мороза, от голода, от нападения кочевников – и овцы, и пастырь равно бессильны, равно хрупки. Какая же разница между овцами и пастухом? Только та, что пастух обладает любящим, заботливым сердцем и способен на такую глубину сострадания и заботливости, что он все свои силы, весь ум, весь личный опыт, весь родовой опыт посвящает тому, чтобы свое стадо оградить от зла и сохранить.

И мне кажется, мы должны всегда помнить очень ярко, что мы такие же хрупкие перед лицом соблазна, перед лицом прелести, перед лицом всех земных и духовных опасностей, как и наши пасомые; но у нас сердце должно быть полное любви, причем любви крестной, той любви, о которой Христос говорит: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15: 13). А «положить душу», то есть жизнь, необязательно значит «умереть», это значит изо дня в день, из часа в час всю жизнь прожить так, что «я» для меня никакого значения не имеет; единственное, что имеет значение для меня, это каждый отдельный пасомый и совокупность моих, вернее, Христовых, овец.

Мне кажется это чрезвычайно важным в нашем подходе, потому что очень легко молодому человеку, ставшему священником, почувствовать, что он теперь вышел из ряда вон, что он какой-то особенный, какой-то значительный, что он имеет право властвовать, что он руководит другими. Это неправда. Редко кто к моменту своего рукоположения вырос до такой духовной меры, что может быть руководителем от земли на небо, редко кто вскоре после рукоположения может надеяться, что будет говорить Духом Святым, премудростью Божией, а не своей жалкой человеческой опытностью.

Но перед лицом такого подхода нам надо помнить две вещи, которые говорит апостол Павел. Вспомните, как он молился, чтобы Господь ему дал силу, и Христос ответил: *Довольно тебе благодати Моей, сила Моя в немощи совершается* (2 Кор. 12: 9). Что это значит? Конечно, немощь, о которой здесь идет речь, это не слабость нашего характера, не лень, не безответственность, не все эти свойства, которые в каждом из нас в той или иной мере есть и которые, конечно, разрушают дело Божие. Это другая немощь. Я вам ее определить не могу, но хотел бы довести до вашего сознания несколькими образами.

⁴ Доклад в Московской духовной академии 11 февраля 1982 г.

Когда мать хочет научить ребенка писать, она вкладывает в руку своего мальчика или своей девочки карандаш, берет эту руку в свою руку и начинает водить карандашом. Ребенок смотрит и видит с изумлением, что с каждым движением материнской руки получается или прямая, или округленная линия. И пока он отдается материнской руке, дает этой руке водить своей рукой, его движения совершенны. Но в какой-то момент ребенок думает, что понял, и начинает «помогать»; и тогда карандаш идет вкривь и вкось. Потому что ребенок думает: раз движение началось вверх, оно должно дойти до верхушки страницы, или раз оно загнулось, оно должно загнуться до конца, – и получается что-то уродливое. То же самое делаем мы, когда, начав под руководством Божиим идти куда-то, лепетать какие-то слова истины, думаем, что все теперь поняли, и хотим говорить своими словами. Один из пророков говорит, что пророк – тот, с кем Бог делится своими мыслями; а для этого нужно уметь вступить в то глубинное созерцательное молчание, в недрах которого, на глубине которого можно услышать тихий голос Божий.

Второй пример, который мне хочется дать, взят из моей бывшей профессии врача. Хирург, чтобы оперировать, надевает на руку тончайшую перчатку; и, потому что она такая тонкая, потому что она такая хрупкая, она дает ему возможность действительно творить как бы земные чудеса своей рукой. Надень врач вместо этой тонкой, хрупкой перчатки, которую может разорвать ноготь, крепкую рукавицу – он ничего не сможет сделать. Таковы должны мы быть; мы должны быть настолько гибки, настолько тонки, чтобы мудрая рука Божия могла руководить каждым движением.

И третий образ – образ паруса. Парус – самая хрупкая часть корабля; вместе с тем именно потому, что он такой хрупкий и гибкий, парус, направленный мудростью капитана, может заполниться ветром и понести корабль, всю его тяжесть, негнущуюся структуру, к цели. И если вспомнить, что слово «ветер» на древних языках одно и то же, что слово «дух», то можно провести параллель еще дальше.

Нам нужно достичь такой прозрачности (*Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят*), такой гибкости, чтобы Бог свободно мог в нас действовать; а для этого нам надо забыть все наши нелепые представления о нашем величии: сан наш велик, а мы ничтожны. Совершая богослужение, мы стоим по благодати и милости Божией на таком месте, на котором никто, кроме Самого Пастыреначальника Христа, не имеет права стоять; и мы должны стоять, как будто под нами почва горит, нам нельзя там стоять; мы – икона; но, Боже! – икона чиста, а мы грешники.

В первый год моего рукоположения, когда я был назначен в Лондон, я служил в небольшом храме православно-англиканского братства. Как-то перед службой я столкнулся в дверях с одной нашей русской старушкой. Я хотел ее пропустить – она меня толкнула в спину, говорит: «Проходите, батюшка!». Я прошел, думал, что этим дело кончилось. Но этим не кончилось, она меня ждала у выхода. «Батюшка, – говорит, – вы, может быть, воображаете, что я вас пропустила, потому что я вас лично уважаю? В этом вы ошибаетесь; я вас еще не знаю, и у меня нет никакого основания вас уважать. Но я вас пропустила, потому что у вас на груди наперсный крест. А если вы этого не можете понять, я вам изъясню». И она мне изъяснила: «Вы помните вход Господень в Иерусалим. Христос въезжал на ослице, перед Ним люди расстилали одежду, клали ветви пальмовые. Как вы думаете, может быть, ослица шла и думала: какая я важная! Мне в голову не приходило, что я такая важная, чтобы люди мне свою одежду под ноги клали!.. А люди-то клали одежду не под ноги ослице, а почитая Христа. Так вот, вы попробуйте научиться и быть Христовой ослицей».

И я думаю, что каждый из нас мог бы с какой-то пользой думать о себе как о Христовой ослице. Нам дано нести святыню, которая нас настолько превосходит, настолько несоизмерима с тем, что мы собой представляем, что мы должны были бы жить с трепетом от сознания, что

да, мы – глиняные сосуды, а в нас – святыня, которая не вмещается ни на небе, ни на земле: Сам Живой Бог.

Мне вспоминается также рассказ из восточной мудрости (я его передал однажды ново-поставленному архиерею, не в церкви, а в частном разговоре). Жили два бедуина беднейшим образом в палатке. Умер шейх этого племени, и один из бедуинов был избран на его место. Он поселился в большом шатре, на земле был постлан ковер, под пологом по кругу были разноцветные вышитые подушки, а в середине шатра – золоченый стул, который когда-то был украден у европейцев; бедуин воссел на этот стул и почувствовал себя шейхом. И настолько он почувствовал себя шейхом, таким великим себя почувствовал, что вовсе забыл о своем друге. Через несколько недель он вдруг вспомнил о нем и велел ему прийти: именно «велел», не то что попросил, как друга и брата. А друг его пришел, вошел в шатер и вместо того, чтобы идти прямо к нему на поклонение, начал рыскать во всех углах, поднимать подушки, смотреть вправо и влево. Наконец его бывший друг ему говорит: «Слушай, ты разве не видишь меня?». Тот остановился, говорит ему: «Вот ты где! Я был так ослеплен красотой твоего стула, что тебя не заметил!». Я думаю, что и архиерею, и священнику не вредно думать, что он ослица Христова или что он сидит на троне, который ему не принадлежит. Если он воображает, что он удостоился этой меры, люди имеют право не заметить его существования, и он перешел в ничтожество.

Такое вступление может вам показаться очень длинным и поверхностным, но, если вы подумаете о себе – те из вас, которые рукоположены, и те из вас, которые еще ждут рукоположения, – вы, может, когда-нибудь заметите, что, как говорится, «сказка вздор, да в ней намек, добру молодцу урок».

Теперь дальше. Наше священство передается – от Христа апостолам, от апостолов епископам, от епископов священникам; и в конечном итоге в своей сущности оно есть священство Христа. Единственный Тайносовершитель и Единственный Первосвященник мироздания – Господь наш Иисус Христос, и мы действуем как бы в Его имя. Это меня очень поражает в начале Божественной литургии. Перед тем как на диаконское *Владыко, благослови!* священник произнесет первый возглас, диакон ему говорит слова, которые в нашем служебнике читаются: *Время сотворити Господеви, владыко, благослови!* В греческом тексте ударение немного иное, и они должны бы читаться так: «Теперь настало время Богу действовать!». Ты сделал все, что тебе по человечеству возможно, ты молился, готовился к богослужению, ты вспахал свою душу, собрался, каялся, может быть, получил разрешительную молитву о твоих грехах, ты облачился в священную одежду, которая из тебя делает икону, образ (ведь у каждой части облачения символическое значение); ты приготовил хлеб и вино в проскомидии. Сердцевина же Божественной литургии заключается в том, чтобы этот хлеб и это вино стали Кровью и Телом Христовыми, и никакая человеческая власть, или сила, или изошрение этого совершить не могут. Мы можем молиться, мы можем проповедовать, мы можем читать Евангелие вслух, мы можем совершать священнодействие, но мы не можем совершить это чудо. У нас нет власти над Телом и Кровью Христовыми, только Господь Бог это может совершить. Это совершенно ясно из того, что учредительные слова: *Сие есть Тело Мое... сия есть Кровь Моя...* – не являются в глазах православного богословия тайносовершительными. После этих слов мы молимся Господу, чтобы Дух Святой сошел и совершил то, чего человек совершить не может. И это мы должны помнить. Мы должны стоять с предельным благоговением, со священным ужасом, сознавая: я, грешный, недостойный стоять на этом месте, где только Спаситель Христос может по праву стоять, – стою, произношу слова, которые Сам Христос произнес, призываю Святого Духа, зная, достоверно, несомненно зная, что в ответ на молитву Церкви и на мой *крик* Дух Святой сойдет и совершит чудо...

И дальше мы должны помнить, что можем совершать тайны Христовы, в частности Божественную литургию, постольку, поскольку мы соединяемся со Христом во всем Его пути. Вы, наверное, помните, как апостолы Иаков и Иоанн подошли к Спасителю, прося Его дать им сесть по правую и левую сторону от Него в Царстве Небесном. И Христос им дал обещание: не угрозу, а призыв; Он им сказал: «А готовы ли вы, можете ли вы пить чашу, которую Я буду пить, креститься тем крещением, которым Я буду креститься?» (Слово «креститься» на нашем теперешнем языке приобрело церковно-литургическое значение, таинственное значение, но в славянских рукописях «креститься» значило «погрузиться с головой»; говорили «крестися корабль» в смысле «потонул корабль».) «Готовы ли вы уйти всецело в глубину того ужаса Гефсимании и Голгофы и сошествия во ад, на которые Я сейчас иду?...». И для того, чтобы быть священником, надо быть в состоянии хоть желанием, готовностью, если не самым делом – потому что делом мы должны возрастать через всю жизнь и, конечно, в такую меру достигают только величайшие святые, – надо быть в состоянии сказать: да, Господи, готов!.. В священство не тогда надо идти, когда хочется совершать Литургию, требы и заботиться о людях, а когда можешь сказать: да, Господи, я готов на крест, в глубины ужаса гефсиманского, в глубины ужаса голгофского, вплоть до слов: *Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?*

Когда меня спрашивают молодые люди, готов ли я их рукоположить, я им ставлю ряд условий. Первый вопрос я им ставлю: слышали ли вы Христа, ставящего вам именно этот вопрос? Второе: дали ли вы себе время продумать свой ответ – или вы сказали «Да!», не понимая, на что идете? Если они отвечают утвердительно, я им тогда говорю: хорошо; теперь возрастайте, молитесь, соединяйтесь со Христом, чтобы когда-нибудь, когда в момент рукоположения вы будете проходить эту таинственную грань Царских врат, вы вошли бы в алтарь и стали перед престолом Божиим, который одновременно является жертвенником... И мне большей частью отвечают: как мне кажется, я готов, но я не уверен в себе... И тогда я говорю: да, ты прав; живи, готовься, и придет момент, когда окружающие тебя верующие увидят на тебе печать священства, и тогда они будут просить о твоём рукоположении. Я до сих пор рукополагал не многих священников, потому что у нас нет нужды в большем числе⁵, но я никогда не рукополагал никого, о ком какие-то люди в приходе, какая-то группа людей не сказала бы: «Владыко, благослови его стать священником; к нему мы могли бы пойти на исповедь; от него – мы чувствуем – мы можем получить Божие благословение, на его молитву мы можем опираться и на его заступничество перед Богом мы можем надеяться».

Следующая стадия – наш священнический совет, который обсуждает вопрос этого рукоположения; и, наконец, мое решение. Но в основе лежит именно вопрос, который ставит Христос: «Можешь ли ты пить чашу, будешь ли ты ее пить до конца, до дна? Согласен ли ты погрузиться в тот ужас крестной любви и в то дивное чудо крестной любви, которыми Я крещаясь?».

Дальше: чтобы все это могло осуществиться, священник должен стать человеком молитвы. Я не говорю, что он должен привыкнуть дисциплинированно вычитывать молитвы, – это всякий может сделать. Но молиться надо глубинно, молиться надо всем сердцем, всем умом, всеми силами жизни, которые в тебе есть, а это не так легко. И первое, что я бы сказал об этом молитвенном пути: молиться надо о победе Божией над тобой, над собой, над каждым из нас. Мой духовный отец мне как-то сказал: «Молись не в свое имя, а во имя Божие, ради победы Божией». Мы начинаем молитву словами: *Во имя Отца и Сына и Святого Духа* – в Его имя, ради Него, ради Его победы. И тогда рассеяны ли мы, устали ли мы, что бы с нами ни происходило, молитвенные слова, молитвенные правила могут стать как бы жерновками, которые будут нас молоть и молоть, пока мы не станем доброй мукой и когда-нибудь – добрым хлебом Христовым. Это значит, что молитва – подвиг, молитва – труд; и важно не то,

⁵ На 2002 г. в Сурожской епархии, кроме митрополита Антония, было два викарных епископа, двадцать священников и десять диаконов.

что мы можем пережить радостного, светлого, просвещающего. Это все – дар Божий, как бы подарок нам от Бога; а важен наш собственный сермяжный, строгий, суровый труд молитвы о том, чтобы наше каменное сердце расколосось, чтобы наш ум проникся словами, мыслями, чувствами, которые вложены в эти молитвы. Мы должны помнить, что молитвы, которые мы читаем – будь то утреннее или вечернее правило, будь то другие, – не были надуманы, не были составлены где-то в кабинете досужим монахом. Они с кровью вылились из души подвижников в момент радости, в момент ужаса, в момент покаяния, и мы должны войти в этот дух, чтобы эти молитвы стали нашими молитвами.

Об этом пространно говорит Феофан Затворник: между моментами, когда мы молимся этими словами, мы должны продумать, прочувствовать размышлением эти молитвенные слова с тем, чтобы они настолько стали нашими, чтобы нам уже не нужно было ссылаться на печатный текст, чтобы мы сами были той книгой, из которой рвется к Богу эта молитва. Сейчас у меня нет времени говорить, как этого достигать, но этого надо достигать. Просто совершать молитвословие, как бы откупиться перед Богом, вычитав то или другое, – недостаточно, это священника не совершает. Священник должен быть таков, что в нем горит молитва, в нем живет молитва, и в эту молитву он может включить и благодарение Богу, и хвалу, и покаянный свой крик, и свое печалование, как говорили в древности, свою молитву предстательства обо всех тех, кого Бог ему дал. Только тогда наша молитва действительно достойна нашего священнического звания и нашего призвания: быть на земле как бы отражением Христовой жизни, Христова сострадания, Христовой любви путем Креста и Воскресения. Потому что отдать свою жизнь без остатка можно, только если мы вкусили в какой-то мере опыт вечной жизни; пока у нас нет ни в какой мере опыта вечной жизни, мы непременно будем отчаянно держаться за эту земную жизнь, потому что это все, что у нас есть. Но в тот момент, когда мы осознаем, что в нас живет Бог, действует Бог, что вечная жизнь излилась в нас, что мы живем не тем, что наше тело живо, а тем, что наша душа, наше «я» живо, – тогда мы можем отдать все, вплоть до самой земной жизни.

Другое, что составляет очень важную часть священнической жизни, как я только что упомянул, это предстояние перед Богом за своих пасомых. Но опять-таки можно предстоять за пасомых как бы издали, стоять на расстоянии и говорить: «Господи, вот человек, который во грехе, в страдании, в болезни, в колебании, в сомнении, – помоги ему...». Этого недостаточно. Нам надо так человека воспринять в душу, чтобы стать как бы желобом, по которому его молитва может подниматься к Богу, и порой это может быть очень трудным делом.

Когда я стал священником в Лондоне, у меня был прихожанин, к которому у меня было самое глубокое отвлечение как к личности, как к человеку. И я очень быстро осознал, что не могу совершать Божественную литургию, если я неспособен его как бы включить в себя, ему дать место в своем сердце, так, чтобы каждое слово моей молитвы было словом о нем, ради него, вместе с ним произнесенное. Помню (и я каюсь, это мой грех, моя недостаточность): я приходил в храм за два или за три часа до службы, становился пред Вратами и молился о том, чтобы Господь открыл мое сердце и я мог бы сказать: да, Господи, я его принимаю в сердце, и теперь вся моя молитва будет его молитвой... И – да, я грешен – иногда мне приходилось два часа, три часа молиться, потому что у меня не хватало духовной чистоты и силы это сделать. Но постепенно, благодаря этой борьбе Господь открыл мое сердце, и я свободно этого человека как бы впускал в него, включал в себя, и тогда мог служить Литургию. Вы, может быть, этого не понимаете, потому что у вас сердце не такое узкое, не такое каменное, как у меня; это исповедь греха с моей стороны; но не спешите сказать, что этого не может случиться сегодня, завтра с вами; это может случиться – не с такой грубостью, как это было со мной, а как бы: «Ну да, я его принимаю, но так, слегка».

Я хочу вам дать пример такого глубинного принятия человека. Пример этот не из христианского мира, а из книги еврейского богослова Мартина Бубера, которую он составил из рассказов о секте хасидов. Речь идет о молодом раввине Зусе, ученике одного из больших наставников своего времени. Он сознавал греховность, которая в нем самом качественна и охватывала и людей вокруг, и обратился к своему наставнику с просьбой умолиť Бога дать ему зрение человеческих грехов; и Господь ему это даровал. И случилось, что пришел купец просить наставления и помощи у его собственного наставника, и молодой Зуся его вдруг увидел во всем его грехе и, исполненный негодования, прогнал: «Как ты смеешь, весь погруженный в грех, прийти к такому святому человеку, как мой наставник?». Тот ушел. Наставник позвал Зусю и спросил: «А не приходил ли сегодня купец ко мне?». – «Да». – «И ты его прогнал?». – «Да». – «Так знай, что это была его последняя надежда». Молодого раввина охватил такой ужас, что он стал просить своего наставника: «Умоли Бога, чтобы Он у меня отнял этот дар!». А наставник ответил: «Нет; дары Божии неотъемлемы. Но я попрошу Бога дать тебе другой дар: чтобы при виде чужого греха ты его воспринимал как свой собственный, потому что и ты, и твой ближний – одно». И это опять-таки совершилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.